

ПРОБЛЕМА «ДАНТОВСКОГО ТЕКСТА» В ПРЕДРОМАНТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ: И. Г. ГЕРДЕР

Вопрос о «дантовском тексте» в западноевропейской литературе конца XVIII века, когда он, по-видимому, только появился, образовался, в литературоведении пока еще с полной определенностью не поставлен. Между тем, если вспомнить хотя бы одно из многих (правда, едва ли не самое важное) замечаний М. М. Бахтина о проблеме текста – «Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [3, с. 285], – сразу станет очевидным, что «дантовский текст» существовал отнюдь не с того самого времени, когда Данте завершил все свои произведения и, главным образом, «Божественную комедию».

Его младший современник Дж. Боккаччо, известный своей восторженной преданностью Данте, не увидел его выраженной в достаточной мере «субъективности», не ощущая, впрочем, таковой и в себе. В его представлении, «не только поэзия подобна теологии, но и теология подобна поэзии» [5, с. 555]: «поэты в своих творениях... в форме красноречивых увещаний... показывают следствия добрых и дурных дел, поощряют одно и предостерегают от другого, дабы, проникшись благими чувствами, мы достигли той цели, в которой помянутые поэты, хотя еще и не постигшие истинного Бога, тем не менее видели конечное наше спасение» [5, с. 553]. Данте в этом смысле – истинный и непревзойденный поэт: «Своими описаниями он равно повергает в трепет добродетельных и сокрушает погрешающих... Чей голос звучит страшнее? Ничей, ничей!» [5, с. 572]. «Необыкновенная красота поэмы, от первого стиха до последнего», позволяющая назвать книгу Данте «и прекраснее, и необычнее любого созданного до сих пор устного или письменного творения», неразрывно связана в понимании Боккаччо с благодатью удаления от ужасов ада и подъема на гору чистилища, с трогательным раскаянием «чаящих причисления к лику святых» и «восхождением в райскую обитель» [5, с. 571]. Единственное, что в этих рассуждениях Боккаччо может навести на мысль о признании им уникальности поэта Данте, это выражение «и прекраснее, и необычайнее всего созданного до сих пор»: речь, конечно, идет о фантазии Данте, его «богатом воображении» – качестве, отличающем выдающегося мастера от заурядного. Эти «несравненные способности Данте» проявились также в его замечательном умении одерживать верх над противниками в богословских диспутах. Аргумент Боккаччо говорит сам за себя!

Для того чтобы понять причину столь поверхностного, невнимательного прочтения лучшего творения кумира, следует вспомнить высказывание автора «Декамерона», обладавшего ярким и сильным талантом и, конечно, знавшего цену этому дару: «Читая их (новеллы. – Н. Л.), дамы в одно и то же время получают и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений и полезный совет, поскольку они узнают, *чего им следует избегать и к чему стремиться*» (курсив мой. – Н. Л.). Благочестие в XIV веке отнюдь не было общим выражением лица! Данте, включивший в «Божественную комедию» сочиненный им рассказ Улисса, враждовавшего с самим Посейдоном, так тесна ему была даже языческая вольница, приписал богоборцу следующие слова: (никакие привязанности. – Н. Л.)

Не возмogli смирить мой голос знойный

Изведать мира дальний кругозор

И все, чем дурны люди и достойны (курсив мой. – Н. Л.).

Итак, прочтение Данте, осуществленное Боккаччо, не стало «неповторимым событием текста». Перед глазами создателя «Декамерона» была почти не изменившаяся со

времени жизни Данте реальность, которую он и сам изображал, да еще, как показал де Санктис, «в полуосознанной манере» [8], а «справедливость, истина, красота и правдивость», на которые, по Бахтину, претендует всякое высказывание, в то время были единственными, общими. То же касается художественного мастерства: «средневековая эстетика... требовала верности исконным «бог вдохновенным» образцам. Искусное повторение сложных условий художественного ритуала, а не собственная выдумка — вот что требуется от художника... Прекрасным считалось не создание нового, а точное воспроизведение прежде созданного... Акт познания состоит не в том, чтобы выявить частное, специфическое, а в процессе отвлечения от частного, возведения его к общему и, в конечном итоге, всеобщему [9, с. 108]. «Для мыслителя средневековья мир — не совокупность сущностей, а сущность, не фраза, а слово. Но это слово иерархически состоит из отдельных, как бы вложенных друг в друга слов. Истина не в количественном накоплении, а в углублении...» [10, с. 38].

Не стал «колыбелью» «дантовского текста» и «Декамерон» Боккаччо, хотя «соприкосновений» с Данте «на территории общей темы» [3, с. 293] в этой книге достаточно. Как показал В. Бранка, Боккаччо ориентировался на средневековые установки и каноны в целом, среди которых предполагаемый «дантовский текст» был не главным (по сравнению, допустим, с народно-смеховой культурой).

Но если и не сразу, то «дантовский текст», несомненно, сформировался в европейском культурном сознании. Очевидно, это начало происходит уже на подступах к романтизму и в целом совершилось в творческом сознании И. Г. Гердера, Жан-Поля (Рихтера), В.-Г. Вакенродера, Ф. Шлегеля, Ф. В. Й. Шеллинга.

Данные о серьезном прочтении Данте, прежде всего «Божественной комедии», о стремлении занять через чужое «субъективное отражение объективного мира» ту или иную позицию относительно «отраженного объекта» [3, с. 292], что представляется нам верным признаком «состоявшегося» «текста», имеются в сочинениях названных авторов. Но интерпретация «конституирует» текст исключительно в структуре «языковости», обязательна его «обремененность языком, погруженность в язык» [6, с. 202, 210]. Текст осуществляется в языке; только как высказывание он «имеет *непосредственное* (курсив мой. — Н. Л.) отношение к действительности и к живому говорящему человеку» [3, с. 301] и продолжает существовать за счет интерпретации. Именно романтики, по замечанию Х.-Г. Гадамера, впервые осознали, что «языковость» текста есть одновременно и возможность его интерпретации (т. е. самого существования), и первопричина ее недостаточности, неполноты: «Жизненная интуиция романтической эпохи... указывает на то, что языковое выражение законодательствует само для себя, т. е., что языковое выражение не только полагает границы самому себе, но и своему значению для формирования объединяющего людей общего чувства (*common sense*)». «Событие понимания погружено в язык» [6, с. 202]; «текст обнаруживается, выговаривается» [2, с. 414].

Следовательно, первым вопросом в рассмотрении «дантовского текста» в западноевропейской культурной жизни конца XVIII — начала XIX веков должен быть вопрос о том, воспринимался ли в то время Данте как «высказывание на языке Данте», подразумевалось ли существование языка Данте (акт, предшествующий интерпретации, т. е. пониманию)?

С точки зрения И. Г. Гердера, поэзия «придает законченную форму... внутренней правде нашей души», художественные образы «приводят в движение все наши душевные силы», и тем не менее «поэзия есть речь (*logos*)»: «с разумным разговаривает разум поэта». Язык Данте, как и Гомера, Мильтона, по И. Г. Гердеру, нечто вроде глоссария, словаря: «Это энциклопедии и вселенные, рожденные из сердца и духа их создателей; они намечают карту их внутреннего и внешнего мира» [7, с. 215, 216]. Например, «благодаря его (Гомера. — Н. Л.) Улиссу мы увидели карту западного мира во всех его ландшафтах, а на ней — изображение разнообразных форм общественной жизни» [7, с. 101]. Безуслов-

но, Гердеру ясно, что «этот эпизод становится моделью всего универсума, заполняет его своей единственностью» [10, с. 45]; «возведение текста до уровня абстрактного языка» [10, с. 79] также несомненно.

Размышляя о творчестве Гомера, И. Г. Гердер уподобил его поэмы «хорошо построенным и хорошо организованным войскам», «роскошно и легко сплетенным венкам древности» [7, с. 99–100]. Как бы ни была специфична и спорна в научном отношении постулируемая Гердером живая и прочная связь словесных художественных форм с этносом, все же показательно, что он уже применительно к языку Гомера широко использует сравнения, а ведь, по Р. Барту, «логика, регулирующая текст, зиждется не на понимании, а на метонимии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, переносов находит себе выход символическая энергия...» [2, с. 416]. Следовательно, по крайней мере «гомеровский текст» для И. Г. Гердера существовал.

Но его научные установки были таковы, что вся мировая или, может быть, точнее, хорошая, настоящая литература была для него единым «текстом» – «живой историей народа». Как Гомер, так и Данте для Гердера «величайшие народные поэты». Он отмечает «мягкость» и снисходительность вкуса греков «в том, что они понимали под *объединением* и *связанностью*» в искусстве (курсив автора. – Н. Л.) и, как частный случай, «рапсодическое» строение поэм Гомера: «спокойное, последовательное сопоставление» завершается объединением «в душе» [7, с. 100]. «Прелестными лирическими венками» в статье «О народных песнях» названы фольклорные лирические произведения (это сравнение Гердер использует очень широко, например: «полевой цветок», пересаженный «на клумбу белой бумаги»); к великим итальянским мастерам, сохранившим эту первозданность, причислен было Данте, однако тут же и обособлен по неназванной, но, вероятно, веской для Гердера причине: «Их величайшим народным поэтом в известной мере до сих пор остается Данте, но, по сути дела, он уже не лирик», а свою поэму он писал «по правилам, которые новый вкус придумал для совершенно неведомого Гомеру жанра так называемой *героической поэмы* (эпопеи)» (курсив мой. – Н. Л.) [7, с. 79, 99]. Разница в степени опосредованности, сложности способа, «языка», на котором «разум» Гомера в одном случае и «разум» Данте в другом «разговаривают» с «разумным» читателем, ведь «мысль писателя реализуется в определенной художественной структуре и неотделима от нее» [10, с. 26].

Предполагавший даже существование «эпоса природной человеческой речи» [7, с. 214] ученый и в случае, когда пишет об эпических поэтах, среди которых называет Гомера и Данте, что каждый из них стремится отразить в своей поэме «круг вещей, которые считаются достойными познания» и «складывается без ведома поэта» [7, с. 54], имеет в виду не исключительно предмет изображения, хотя бы и оговоренный заранее, предписанный эпическому поэту традицией (в бахтинском смысле). Читаем в «Каллигоне»: «*Эпосом* у Гомера называется *слово, дело, история, рассказ*. Так же немецкое слово *Wort* (слово) происходит от *warden* (делаться, становиться)...»; «То, что *отсутствует* или *некогда* случилось, требует, чтобы быть воспринятым, связной упорядоченной речи. Так появился *эпос*» (курсив мой. – Н. Л.) [7, с. 214]. Этимология недостоверна, но Гердер, безусловно, говорит об определенной речевой установке, т. е. остается в пределах «языковости», конституирующей текст эпического произведения.

Изучение процесса формирования «дантовского текста» в западноевропейской культуре конца XVIII – начала XIX века на его «гердеровском» этапе будет неполным, если не брать в расчет присущих им обоим теологических идей и представлений, а ведь они не что иное как лежащее в основе сочинений каждого религиозно мыслящего автора «благоговейное приятие», «согласие, его бесконечные градации и оттенки... наслаивания смысла на смысл, голоса на голос... дополняющее понимание...» [3, с. 300]. Речь, конечно, идет о Предвечном слове, через которое, по евангелисту Иоанну, «все начало быть». Да, И. Г. Гердер с заметной осторожностью относился к Данте по причине сво-

их сомнений в гуманистическом смысле средневекового христианства, определившего характер европейской истории этого периода: «Провидение использовало дар воображения, через который оно могло так сильно, чисто и естественно влиять на людей; но как это было отвратительно, когда им злоупотребляли обман или деспотизм, заставляя служить своим целям...» [7, с. 235]. Однако и до Гердера, и после него даже не искусные в философии, а просто знакомые с литературой люди среди горячих приверженцев идеи гуманистической направленности истории мира (понимаемого теологически), без сомнения, называли Данте, чье слово об этом мире воспринималось именно как слово. Но, как справедливо заметил Э. Ауэрбах, «открытый им материк оказался завоеванным; многие ступали на него, некоторые исследовали его, и вскоре люди перестали помнить или осознавать, что Данте был первым» [1, с. 185].

Литература

1. Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира. – М., 2004.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: пер. с фр. – М., 1989. – С. 413–423.
3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
4. Бранка В. Боккаччо средневековый: пер. с ит. – М., 1983.
5. Боккаччо Дж. Жизнь Данте // Боккаччо Дж. Малые произведения: Пер. с ит. – Л., 1975.
6. Гадамер Х.-Г. Герменевтика и деконструкция. – СПб., 1999.
7. Гердер И. Г. Избранные сочинения. – М.; Л., 1959.
8. Де Санктис Ф. История итальянской литературы: в 2 т. – М., 1963–1964.
9. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – М., 1994.
10. Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 1998.